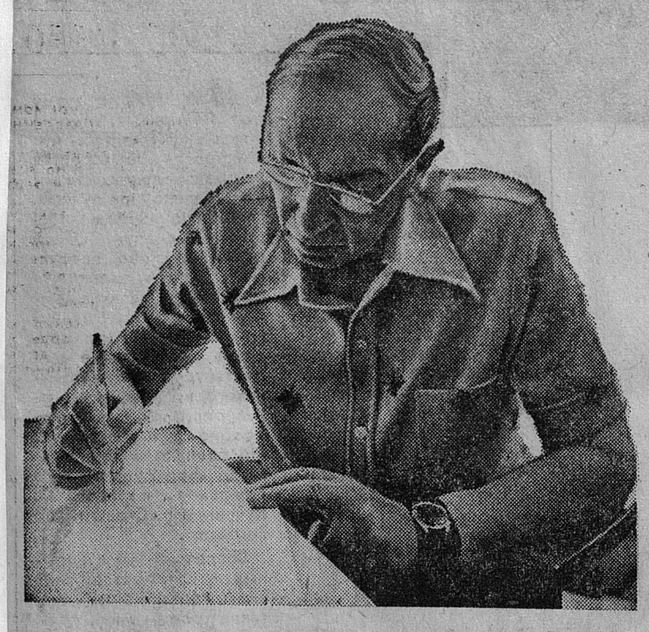
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
г. Москва
13 апр. 1983 г.
№ 15



ИНТЕРВЬЮ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ПРИЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

...Мне кажется, я сама себе завидую, когда выпадает счастливый случай быть в гостях у В. Каверина или побродить с ним по тихим улицам писательского городка Переделкино. В «Заметках о Булгакове» Каверин говорит, что «интерес к личной жизни писателя отнюдь не представляет собой отрадное завоевание XX века», и сам он при этом задает риторические вопросы: «Но как отделить «личное» от работы, которая повелительно распоряжается жизнью? Что делать с этой слитностью, нерасторжимостью?..» Действительно — как? Ведь вроде бы спрашиваешь о «личном» — мы идем, например, вдоль домов, связанных с именами К. Федина, Н. Тихонова, К. Чуковского или Б. Пастернака, и поинтересуешься: «А их письма у вас сохранились?» — и вдруг окажешься в центре событий 20—30—40-х годов... Живая история литературы, и с какими подробностями, и с какими деталями, и как рассказанная! В. Каверин охотно вспоминает о давнем и недавнем и так же откровенно говорит, над чем работает. В отличие от тех, кто не открывает замысел, молчит, пока вещь не закончена, будто боится ее «сглазить», он сообщает о ней все, что вас интересует.

Вот прошлогодним январем, когда речь зашла о «Верлиоке», — повесть публиковалась «Новым миром», — он вдруг сказал, что намерен вернуться к военной теме, к Северному флоту — задумал новый роман и уже приступил к нему. Его работоспособность, неутомимость восхищают, ведь все-таки уже за 80. «Призвание обязывало его», — писал Каверин о Паустовском, но мог бы с чистой совестью сказать это и о себе. Когда видишь его, идущего по Переделкину, то легко предположить, что на эту недолгую прогулку он вышел вовсе не один, а с кем-то из неизвестных нам героев своей будущей книги. Потому что именно здесь, в подмосковном Переделкине, где он живет уже 35 лет, завершалась начатая в Ленинграде работа над второй частью «Двух капитанов», здесь писались и «Открытая книга», и «Перед зеркалом», и «Освещенные окна», и «Двойной портрет», и Немухинские сказки. И тут ложились на бумагу строки нового романа о войне «Наука расставанья».

— Как военкор «Известий» я провел около двух лет на Северном флоте, в маленьком городке Полярное (ныне Полярный), который так и просится под перо, потому что едва ли где-нибудь на громадной по протяженности линии границы существовал еще такой городок, который был бы одновременно и фронтом, и тылом, причем оба понятия, как бы противоположные, сливались в нем с поразительной отчетливостью. Там был хороший театр, прекрасный офицерский клуб, читались и лекции по пушкиноведению, что заставило, между прочим, одного взятого в плен фашистского аса сказать: «Если моряки перед боями слушают с интересом лекции о Пушкине, то вы выиграете войну». Случалось, что прямо из Дома флота с праздничного вечера моряка или летчика командование вызывало на позицию, и никогда уже не видели его те, кто любовался им, танцующим с подругой. Я писал об этом городке в «Двух капитанах» — там служил Саня Григорьев. Повесть «Семь пар нечистых» тоже связана с Полярным. В годовщину 20-летия начала войны моряки пригласили меня выступить с воспоминаниями. Перед поездкой я обнаружил в старом фронтовом блокноте сюжет, выглядевший спустя годы невероятным. Я рассказал о нем бывшему командующему Северным флотом А. Г. Головко, моему соседу в Переделкине. Он посоветовал мне вернуться на Крайний Север и заказал карту с обозначением маршрута маленькой «Онеги», где должно было развертываться действие будущего произведения. Так, вернувшись через 20 лет на бывший театр военных действий, я написал повесть, посвященную тому суровому перелому, который произвела во всех нас война.

Теперь я ставил перед собой совершенно другую задачу. В «Науке расставанья» я хотел показать бытовую сторону войны, жизнь, вплотную приближенную к фронту. В те годы со мной произошло много и значительного, и глубокого, и одновременно смешного. Все это теперь я использовал в романе, идя по собственным следам. Роман основан на подлинном горестном случае, когда на моих глазах 19-летняя девушка приехала в Полярное к жениху, их все поздравляли, благословляли, а через два дня он ушел на подводной лодке и не вернулся. Мы были с ним друзьями, и на всякий случай (потому что задание было сложное, опасное) он попросил меня сохранить единственную памятную вещь, оставленную ему матерью, — кольцо с черным жемчугом: если он не вернется, я должен был отдать кольцо невесте. Получив страшное известие, она три дня не выходила из комнаты, хотела быть одна, никого не могла видеть... Судьба этой девушки оставалась в памяти в течение десятилетий, и я наконец вернулся к ней.

В романе три главных действующих лица: морской офицер, командир подводной лодки, человек острый, язвительный, саркастический; военный корреспондент — тут я просто добросовестно «писал себя»; и, наконец, девушка, любящая этого погибшего моряка, оставшаяся ему надолго-надолго верной. Сложные отношения ее с моим военкором трудно передать в двух словах.

— Как проявилась в новом романе ваша любовь к напряженному сюжету?

— Я ценю сюжет как могучее орудие не только построения, конструкции произведения, но и как орудие познания его смысла, его назначения. Конечно, гениальные люди могут позволить себе обойтись без сюжета или построить его так, что он не виден, как не видна техника в игре Рихтера. Сюжет играет бесценную роль, он дисциплинирует, зовет к лаконичности, к простоте. В самом деле, после чтения многих наших произведений возвращаешься к Пушкину и поражаешься глубине его простоты. Вот к этой простоте и лаконичности я, можно сказать, стремился всю жизнь. Кстати говоря, мне помогал русский фольклор и не только русский, но, например, и скандинавский. Недавно вышли скандинавские сказки с моим предисловием. Вспомните «Кота в сапогах» — как мало написано и как много сказано. Вспомните пьесы Евг. Шварца, простота которых — ключ к познанию смысла произведения. Вот почему я люблю русские сказки. Вот почему до сих пор горюю, что идея Заболоцкого пересказать современным стихом русские былины осталась неосуществленной. Вот почему горько сожалею, что затея А. Толстого пересказать русские сказки — грандиозная, с размахом — тоже не сбылась. То, что я пытаюсь сделать, также иногда основано на фольклоре, — хотя бы сказочная повесть «Верлиока».

В «Науке расставанья» мне ничего не приходилось придумывать, кроме сюжета. Обилие материала, в котором я буквально тонул, заставляло производить строжайший отбор. Читательское напряжение сложно было держать: читателю материал был не так близок, как мне. Я старался писать по возможности просто. По фактуре к этому роману ближе других повесть «Семь пар нечистых», а по манере письма — «Двойной портрет». Я не знаю, хорош мой новый роман или плох. Вы видите перед собой ни в чем не уверенного человека.

Роман завершен, печатается в майском номере журнала «Октябрь». Может быть, в работе писателя наступила пауза? Оказывается, ничего подобного.

— Одно влечет за собой другое. Когда начал вспоминать войну, то среди оставшихся записей обнаружил такую: «Только простое может бросить свет на сложное». И я тогда подумал: что же в моей жизни может быть расшифровано для новой книги? И понял: главным, если говорить о чувствах, была дружба. Я ценю товарищеские отношения более всех других, они значат очень много, потому что являются бесконечно дорогими не только в личном смысле, но и в профессиональном.

Я задумал новую книгу в виде сборника эссе, основанного на письмах друзей ко мне, которые никогда не публиковались. Их множество, и я отбирал только те, что характеризуют искусство и время. Это письма М. Зощенко, Ю. Тынянова, К. Паустовского, Л. Первомайского, П. Антокольского, К. Стравинской — племянницы великого композитора, которая принимала огромное участие в его жизни, Е. Булгаковой (с историей литературного наследия М. Булгакова), письма И. Андроникова и многих других, в том числе молодых писателей.

Было бы неверно сказать, что книга лишена композиции и представляет собой просто перечень воспоминаний, подкрепленных документами, хотя документальность — существенный признак, важное ее свойство. Это книга о дружбе, о типах отношений, о тех людях, замечательных деятелях литературы, культуры, без которых наша жизнь была бы не полна и однообразна. Работа в разгаре. Думаю, полгода будет довольно, чтобы книгу закончить.

Беседу вела
Ирина РИШИНА

В. КАВЕРИН

ОЖИДАНИЕ

Они проводили вместе целые дни. Много ли расскажешь в письмах, которые к тому же часто пропадали. Таля рассказывала о Перми, о госпитале, в котором она работала, о том, как ей было трудно, не из-за раненых, а из-за главного врача, который вздумал за ней ухаживать, писал ей трагические любовные письма, надолго задерживал ее в своем кабинете, пошло любезничал и вдруг распорядился, чтобы ей на кухне выдавали вторую порцию, разумеется, она отказалась. Она говорила о Кировском театре, эвакуированном из Ленинграда, — Елена Григорьевна, мать Незлобина, потащила ее на «Евгения Онегина», и какой-то мальчик, когда шел бал у Лариных, спросил на весь театр: «Мама, это ведь те же колхозницы, которые были в первом акте?» Уланову она не видела и очень жалеет об этом. Отец поправился, даже пополнел, но почему-то совершенно перестал говорить, и это ее беспокоит.

— Я поблагодарил Незлобина, — сказал Мещерский, — он заботился, чтобы ты не скучала.

— Да, мы с ним много гуляли. Он какой-то... Бывают мужские мужчины, а он какой-то немного женский мужчина. Странно, что он до сих пор не женился.

— Нет, он мужской мужчина. По меньшей мере в рискованных ситуациях.

И Мещерский стал рассказывать Тале о своих походах. Сперва, когда он еще был на «Малютке», ему очень везло. Больше девятнадцати часов не ждал встречи с немецким конвоем. Потом перевели на «Щуку», и вначале дело не пошло. Потом утопил сразу два транспорта и получил орден.

— А команда тебя любит?

Он ответил уклончиво:

— Кто любит, а кто нет. Я ведь спуску никому не даю.

— Строгий командир?

— Очень строгий.

Во всем, о чем они говорили, — или это только казалось Тале — было что-то недосказанное. Похоже было, что он хотел что-то сказать ей и не решался. Вопреки всевозраставшей долгожданной близости оставалось что-то, может быть, ничтожное, а может быть, жизненно важное — Таля не знала. Какая-то призрачная трещинка неотрывно сопровождала их отношения, заставляя Мещерского вдруг уходить в себя, не слыша Талю. Казалось, он боролся с собой, и борьба эта кончалась и не кончалась, исчезала и вдруг снова появлялась в неожиданную минуту. Однажды она спросила его об этом, и он поспешно — может быть, слишком поспешно — ответил:

— Нет, нет. Ничего.

— Таля говорила о тебе так много и с таким воодушевлением, что, пожалуй, впору и поревновать, да не время. Завтра ухожу в поход. Дело сложное, обсуждалось на Военном Совете, рассказывать о нем, сам понимаешь, не могу. Но есть другой разговор.

Мещерский помолчал, закурил.

— Причем именно с тобой, потому что я тебе верю. И еще потому, что Таля... Словом, она сказала, что такого человека, как ты, еще не встречала.

— Ну уж! — усмехнулся Незлобин.

— Ладно. Выбирать не приходится. Ну, словом, дело такое: если я не вернусь, передай ей вот этот перстень.

Два треугольника, выложенные бриллиантиками, соединялись на тяжелом золотом перстне, упираясь основаниями в большую жемчужину, не белую, а как бы подернутую темной, непрозрачной дымкой.

— Это черный жемчуг, редкий камень. И, должно быть, очень дорогой. Я не знаю.

Перстень Мещерский вынул из крошечного замшевого мешочка, который носил под кителем на груди.

— Мне было девять лет, когда умерла мать. Кроме меня, у нее не было ни родных, ни друзей. Я как зажал этот перстень в кулаке, так и не разжимал неделю. Боялся, что украдут.

Он помолчал.

— Ведь никогда не знаешь, удастся ли вернуться. Но на этот раз... Словом, дело такое. Возьми и передай. Я тебе верю.

— Нет, не веришь, — вдруг сказал Незлобин. — Почему ты не оставил его Тале?

— Послушай, Вадим, — сказал Мещерский, который никогда не называл Незлобина по имени, — ну, как ты не понимаешь?.. Она и так будет беспокоиться. А если бы я решился оставить ей... Мне просто страшно, что ты совсем меня не знаешь.

— Не я тебя, а ты ее не знаешь, — возразил Незлобин с твердостью, которой он сам удивился. — Ей можно все сказать. Она не мне, а тебе принадлежит вместе с этим кольцом. Она и без того прекрасно знает, что ты ее любишь, и в новых доказательствах не нуждается. Я не возьму. Пусть беспокоится. Все жены беспокоятся, и она не имеет права беспокоиться меньше других.

Мещерский вздохнул:

— Я тебя, как друга, прошу. Ну, поверь же, мне так будет легче. Ты прав, все волнуются. Но она по моему лицу угадала, что этот поход будет тяжелее других. Она подумает, что надежды нет, если я так с ней попрощаюсь. А я не только надеюсь, я твердо уверен, что непременно вернусь. Дело трудное, и ты можешь мне, если согласишься.

— Чем же? — тихо спросил Незлобин.

— Не знаю. Ты был прав, я долго сомневался. И не то, что не верил. Ты ведь тоже не вечен. Я знаю, например, что ты у командующего в операцию просился.

— Давай, — вдруг сказал Незлобин.

— Спасибо. Я его в этом мешочке носил.

Он протянул Незлобину мешочек.

— Хочешь, я дам тебе слово, что до твоего возвращения останусь в Полярном?

— Не надо.

Они обнялись.

— Пойду, — сказал Мещерский. — Пойду. Много дела.

«Щуку» пришли проводить многие, а Мещерского как раз немногие, и Незлобин, давно научившийся разгадывать все оттенки в жизни маленького городка — городка, который был одновременно и тылом, и фронтом, — огорчился и за Мещерского, и за Талю. Лодка шла в поход, о котором никто не говорил, но каким-то чудом думали и знали. «Так что могли бы, сукины дети, и проводить товарища», — подумал Незлобин. Все смотрели, как прощаются Мещерский и Таля. Он обнял ее, поцеловал руки, она прижалась к нему и (может быть, это показалось Незлобину) незаметно перекрестила. «Простились дома», — подумал он.

Лодка ушла, и началось ожидание. Мещерскому предстоял двух- или трехнедельный поход, так что в первые дни жизнь как бы осталась совершенно такой же, как прежде. Все прогулки Незлобина с Талей начинались с гавани, справа открывался главный фарватер, по которому в бухту следовали боевые корабли. Им приходилось огибать небольшой мысок, и на этот мысок постоянно были устремлены взгляды тех, кто терпеливо или нетерпеливо ждал моряков, возвращавшихся после боевого похода, но дни шли один за другим, корабли приходили и уходили, а подлодки Мещерского не было среди них.

— Да и не могло быть, — говорил Тале Незлобин. — Он не вернется, пока не выполнит приказ.

Они подолгу сидели на сопке около стадиона — отсюда хорошо было видно море: то темно-синее, с уходящими вдаль белыми гребешками, то страшновато-черное, неподвижное, ежеминутно менявшее свой неуловимый цвет. И казалось — это сказала Таля, — что, когда оно спокойное, в него можно смотреться, как в зеркальную крышку рояля.

Они много разговаривали, и всякий раз это было так, как будто и Незлобин, и Таля, заглянув в себя, находили что-то казавшееся давно забытым. Случалось, что они встречали высокую, полногрудую, стройную молодую женщину в форме, и Незлобин, старательно и одновременно почему-то немного смущаясь, здоровался с ней. Однажды она обогнала их на лестнице, по которой они спускались в Старое Полярное, и поздоровалась не только с Незлобиным, но и с Талей, как в деревнях здороваются с любым впервые появившимся человеком.

— Кто это? — спросила Таля.

— Старший лейтенант Анна Германовна Сверчкова, — ответил Незлобин. — Она работает в штабе.

— А почему вы покраснели? Впрочем, молчу, молчу! Краснейте на здоровье... Красивая, — подумав, сказала Таля. — И здоровая! Я бы хотела быть такой. А юбка, между прочим, в складочках, только что не плиссировка. Это ведь не полагается по форме. Правда?

— Правда, — согласился, стараясь улыбнуться, Незлобин.

Минут десять они шли молча, а может быть, и больше, чем десять, потому что вдали показались незнакомые столбики за оврагами у ближайшей сопки.

— Это кладбище, — сказал Незлобин.

Кладбище было небольшое, чисто прибранное, памятники тоже небольшие, скромные, украшенные красной звездочкой, похожие друг на друга.

— Вот и пришли, — почему-то сказала Таля. — Я думаю: мужчине трудно дождаться, даже если он очень любит. А уж если не любит... Вы себе красивую выбрали. И, наверное, добрую. Правда?

— Не знаю. Я ее не выбирал. Я вообще никого не выбирал. Мы просто знакомы. Здесь все знакомы, кроме приезжих.

— Значит, я ошиблась. Простите. Но ничего плохого, если бы вы именно ее-то и выбрали. Я так спросила, потому что вы всякий раз смущались, когда она проходила мимо. И между прочим, я заметила, что она меня разглядывает. Честное слово!

— Вам показалось.

— Нет. Разглядывает. Однажды я зашла в магазин под Циркульным домом, а она там покупала что-то. Так ведь, когда я появилась, она, должно быть, даже забыла, что хотела купить. Правда, купить было нечего, но продавщица ее три раза спросила, а она все не слышала. Есть такое выражение: «есть глазами начальство». Так вот, хотя я для нее не начальство, а она ела. И мне даже показалось, что если бы могла, так и съела бы без остатка. Потому что она на меня не только с любопытством, а с какой-то ненавистью смотрела. Может быть, решила, что я — шпионка?

Впервые Незлобин, забывавший о своей язве, когда Таля была рядом с ним, почувствовал, что боль, уколовшая его где-то под ложечкой, медленно опустилась вниз и залегла там, как камень. Он засмеялся — и тоже неудачно, с неестественной хрипотой.

— Почему же с ненавистью? — спросил он.

— Не знаю.

Они ходили между памятников по чистым, прибранным, усеянным мелкой галькой дорожкам. «Погиб за честь и независимость нашей Родины»...

— А ведь я догадываюсь, почему с ненавистью, — вдруг сказала Таля. — Она была не с вами близка, а с Сашей, и теперь, когда я приехала... Ах, вот почему он все время хотел мне что-то сказать... И однажды — я почувствовала — чуть не сказал. Мне самой нужно было его спросить. Я совсем не хотела, чтобы он мучился. И он бы сказал. Так?

Она взглянула прямо в глаза Незлобину. Он опустил глаза.

— Слушайте, я все понимаю. Мне приходилось много встречаться с женщинами, у которых мужья на войне. Они говорили: «А пускай! Лишь бы живой вернулся». Вчера говорила с Эммой Леонтьевной, например. Разумеется, в общих чертах, не о Саше. Так она рассказала, между прочим, об одном командире эсминца, превосходном, талантливом, не просто смелом, но отчаянно, хотя и разумно, смелом. Фамилии она, конечно, не назвала. Так его после очередного похода от женщин вообще оторвать было невозможно. Я говорю «было», потому что начальник Политуправления в конце концов выписал его жену с пятилетним сыном. Но вы промолчали. Ведь я дала ему слово, что это ничего не изменит. Она?

— Нехорошо с вашей стороны задавать мне такие вопросы, — ответил он с непритворной досадой.

— Вы правы, поговорим о другом. Расскажите мне о здешнем пушкинисте.

— Пушкинисте?

— Да, Эмма Леонтьевна рассказывала о нем.

— Ах, это... — Незлобин назвал фамилию. — Он вообще-то тоже военкор, но начальство уважило его, позволило заниматься своим делом. Конечно, Библиотека имени Ленина не входит в состав Северного флота, так что работать по специальности он не может. Но зато он предложил читать лекции о Пушкине экипажам уходящих кораблей.

— Ну, если моряки перед походом просят рассказывать им о Пушкине, мы победим, — серьезно сказала Таля. — Между прочим, а где живет Анна Германовна?

— Не знаю, — сердито ответил Незлобин и солгал.

Таля не очень удивилась тому, что Мещерский, с нетерпением ожидая ее, был близок с другой женщиной. Она давно научилась думать о нем как о неразрывно связанном с ней человеке. И теперь, когда она принадлежала ему, эта неразрывность осталась и стала еще прочнее. Они оба поняли, что у них есть теперь не только настоящее и будущее, но и прошлое. Но в прошлом она не чувствовала такого постыдного, неутомимого и неутолимого страха за него, который терзал ее наяву и во сне. И еще одна забота, очень важная, волновала ее. Когда началась война, они потеряли друг друга, и это продолжалось долго, почти полтора года. У него не было писем от нее, хотя она несколько раз писала ему наудачу на Северный флот. Совпала ли близость с Анной Германовной с тем временем, когда они ничего не знали друг о друге? Был ли он близок с ней, когда переписка возобновилась? Она не чувствовала ревности, но если это так, жизнь с ним казалась ей невозможной, потому что началась бы с недоговоренности, с неверности, со лжи, в то время как она, Таля, ничего от него не скрывала.

Вот почему она решилась пойти к Анне Германовне, как бы это ни было трудно...

Старший лейтенант стирала белье, когда Таля осторожно заглянула в приоткрытую дверь и негромко кашлянула, чтобы Анна Германовна поняла, что она не одна. Теперь, разглядывая ее, Тале показалось, что она не очень красива: грубовата, с тяжелым подбородком, с низким лбом и толстыми руками, которыми она сильно и ловко отжимала белье.

— Здравствуйте. Я вам помешала?

— Ах, это вы! Ничуть. Я даже вроде ожидала, что вы ко мне зайдете.

Она и говорила низким голосом, с каким-то, может быть, белорусским акцентом.

— Я мигом управлюсь. Посидите.

Комната, в которой стояли стол, диван-кровать, два стула и полка с книгами, ничем не отличалась от любой другой, в которой Таля побывала в Полярном. Над шкафом висел портрет Сталина, а под ним стояла вазочка с искусственными цветами.

— Воскресенье, хозяйство, — сказала, входя, Анна Германовна. Она растрепалась, стирая белье, и вдруг спохватилась — убрала прядь, упавшую на лоб, и, подойдя к зеркалу, энергично поработала гребенкой, приводя в порядок свои еще не потерявшие молодого блеска рыжеватые волосы.

— Ну вот, — сказала она, садясь на диван рядом с Талей. — Будем считать, что мы вроде уже знакомы.

То и дело она, кстати и некстати, повторяла это «вроде», заменявшее ей множество слов.

— Я все знаю. Вы — невеста Мещерского, приехали к нему, и когда он вернется, состоится так называемая свадьба. Так?

— Так, — неуверенно ответила Таля.

Они помолчали.

— Что это вы вроде какая-то ошеломленная, — сказала Анна Германовна. — Или не знаете, о чем со мной говорить? Так я сама начну — и без предисловия, уж не взыщите. Вы пришли ко мне, потому что хотите узнать, люблю ли я Мещерского или он просто так ко мне ходил, как делают тут многие, и женатые, и холостые. Так вот — люблю. Да. Как никого в жизни еще не любила. — Она еще продолжала говорить, сердясь на себя за подступившие слезы. — Так ведь что же поделаешь, если он любит другую?

Теперь обе плакали, сидя рядом, прижавшись друг к другу.

— Он мне много о вас рассказывал, — говорила побледневшая, подурневшая, с красными глазами Анна Германовна. — И я, бывало, себя спрашивала: «Ну на что он тебе?» На меня ведь многие заглядывались. А он... У него характер едкий, колючий. От всех сторонится, никому вроде не доверяет. Вы были, кажется, единственным человеком, от которого он, что бы там ни случилось, ничего никогда не скрывал.

— Скажите, Анна Германовна, — с трудом выговорила Таля, — что же, так и было до самого моего приезда? То есть, я хочу сказать...

— Какое там! Как он получил первое письмо от вас — только я его и видела. И не то что он стал скрываться — это на него не похоже. Пришел и сказал: «Прости, но мы теперь должны расстаться». Я побелела, а он говорит: «Извини. Но ты понимаешь...» Я сама ему помогла. Говорю: «Письмо от Тали?» А он счастливый, глаза светятся, таким я его еще не видала. «Ты не сердись, — говорит так ласково, — я понимаю, что тебе тяжело. Но ведь я много раз говорил. Правда?» Ну я отвечаю: «Правда». И еще прибавил, уже сурово, как будто я перед ним провинилась: «Без слез».

— Но ничего не рассказал мне, — тоже сурово сказала Таля.

— А это... Ну вроде, чтобы вас поберечь. Вы ревнивая?

— Не знаю. Кажется, нет.

— Все равно. Может быть, испугался, что вас это огорчит.

Она помолчала.

— Да, я была счастлива с ним. Он и смеяться иногда умеет, да как! До упаду! Но требует уважения к себе, хотя сам, между прочим, никого серьезно не уважает. Я ему однажды сказала: «Ты любишь на всем свете только флотский чай и свою Талю». А он, да так грустно, и ответил: «Ну что ж, это, пожалуй, верно».

— А что такое флотский чай?

— Горячий, сладкий и крепкий. Вы ему делайте этот чай. Сперва надо чайник залить кипятком, чтобы согрелся, а потом на стакан столовую ложку чая. Вот сейчас я вам покажу. Да, вы простая, — продолжала она, когда они уже сидели за столом, покрытым чистой белой скатертью, за флотским, действительно очень душистым чаем. — Я знаю, вы — учительница, прекрасное дело. И детей любишь?

Она не заметила, что перешла с Талей на «ты».

— Люблю.

— У нас здесь мало детей, — сказала Анна Германовна. — А у меня, между прочим, есть сын от первого брака. В эвакуации с бабушкой. Я сама из Минска. А ты?

— Из Ялты. Учительница, а когда школу пришлось закрыть, поступила на курсы, кончила и работала в челюстном госпитале медицинской сестрой.

— Ты и прежде была такая тоненькая?

— Ну все-таки не такая. Я теперь даже стараюсь немного пополнеть. Не больно-то получается. Кожа да кости.

— Вот ему и нравятся твои косточки, — задумчиво сказала Анна Германовна. — А мои, толстые, нет. Пей чай. Вкусный, правда?

Редакция телеграфно запросила Незлобина: «Почему молчите? Ждем материал». И он, наскоро состряпав статью из старых материалов, отправил ее в Москву. Времени не было — каждый день он часами сидел у Тали, и Эмма Леонтьевна, то и дело смеясь, поучительно говорила ему, что Мещерский знал, на кого он оставляет невесту.

...Это была спокойная неделя, когда Таля даже пошла после настойчивых уговоров Эммы Леонтьевны на «Свадьбу Кречинского» в театр. В антракте она познакомила ее с еще молодым, но уже седеющим офицером, чернобровым, плотным, с проницательным, добрым лицом. На погонах у него были три звезды, он держался уверенно и спокойно. Почему-то он стал заботливо расспрашивать Талю, как ей живется в Полярном.

— Это командующий флотом Р., — сказала Эмма Леонтьевна, когда офицер извинился и отошел в сторону. — Вам он понравился?

— Очень.

— Еще бы! Интересный мужчина. Когда я его вижу, мне, по правде говоря, всегда хочется пококетничать с ним. Но его жена была моей подругой.

— Была?

— Да. Умерла перед самой войной. Что было! Он шел за гробом и, не скрываясь, плакал. Она была тоже интересная, но с одним недостатком: всегда молчит, что, между прочим, у женщин встречается редко.

— А дети у них не остались?

— В том-то и дело! И это — не знаю, как для нее, а для него... Я думаю, замолчала она после того, как убедилась, что детей не будет. Избегала разговора о них. А для него, — серьезно продолжала Эмма Леонтьевна, — для него это, может быть, самая болезненная в жизни неудача. Я однажды видела, как он встретил мальчика лет семи — сынишку одного командира эсминца. Шутил с ним, и поднимал, и показывал, как должны здороваться моряки. Вот так.

И Эмма Леонтьевна отдала честь, протянула руку и легко вскрикнула, когда Таля пожала ее своей крепкой узкой рукой.

— Ого! А вы, оказывается, сильная. А когда видит меня, первый вопрос: как Лора?

Таля уже знала, что у Эммы Леонтьевны есть семилетняя дочка Лора и что она с бабушкой эвакуирована в Куйбышев.

— Вот вы выходите замуж, — с мягкой поучительностью продолжала Эмма Леонтьевна, — так надо, чтобы был ребенок. И чем скорее, тем лучше.

— Просто трогательно, что все так хлопочут о моей будущей семейной жизни. Я чувствую, что Незлобин, например, за меня просто боится.

— А мне кажется, что он не за вас, а вас боится, — загадочно сказала Эмма Леонтьевна. — Он — сложный и, между прочим, добрый, без расчета. Мой Андрей Александрович говорит, что он пишет лучше других журналистов, по крайней мере здешних, в Полярном. И мне нравятся его статьи. Я даже вырезаю их — просто на память. Когда-нибудь кончится же война, и мой альбом с вырезками кому-нибудь пригодится! Первый звонок, надо идти в зал. Он между прочим влюблен в вас, бедняга.

— Влюблен?

— Да. Уж вы мне поверьте. Я этих влюбленных мужчин за сто шагов чувствую. Должно быть, есть какие-то токи в любви. В меня многие в молодости влюблялись, и я всегда верно угадывала, кто искренне, а кто — почему бы и нет! Ну, пошли. Посмотрим, как выберется из этой путаницы нахал Кречинский.

Рисунок В. СКРЫЛЕВА